

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
КРИТИКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Январь 1990

ОСНОВАН В АПРЕЛЕ 1957 ГОДА

Орган Союза писателей СССР
и Института мировой литературы им. А. М. Горького
Академии наук СССР

Содержание

ОБРАТНЫЙ АДРЕС

- 3 **И. Ф. ДЕВЯТКО, С. С. ШВЕДОВ.** Журнал и его читатель.
23 **Д. УРНОВ.** Журнал, посвященный литературе

XX ВЕК: ИСКУССТВО, КУЛЬТУРА. ЖИЗНЬ

- 32 **Л. ТЕРАКОПЯН.** На линии разлома
61 **А. ТЕРЦ (СИНЯВСКИЙ).** Люди и звери. По книге Г. Владимова
«Верный Руслан (История караульной собаки)»
87 **С. СЕМЕНОВА.** Оправдание России (Эскиз национальной ме-
тафизики)
112 **И. ПЕТРОВСКИЙ.** Знаки Москвы и колумбийская действи-
тельность

ОЧЕРКИ БЫЛОГО

- 140 **Н. БЕРБЕРОВА.** Люди и ложи (Русские масоны XX столетия)

ВОЗВРАЩЕНИЕ

- 198 Из архива Казиса Боруты (1905—1965). Публикация В. Ку-
бильуса.

Абрам ТЕРЦ (СИНЯВСКИЙ)

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

**ПО КНИГЕ Г. ВЛАДИМОВА «ВЕРНЫЙ РУСЛАН
(ИСТОРИЯ КАРАУЛЬНОЙ СОБАКИ)»**

Статья «Люди и звери» была написана мною 15 лет назад, вскоре после выхода «Верного Руслана» на Западе. Теперь Георгий Владимов наконец-то напечатан в стране. Урок, преподанный сталинизмом советскому народу, так огромен, что нам суждено еще не раз возвращаться к его чудовищному опыту. Не только в виде разоблачения каких-то новых фактов, но всякий раз соотнося этот исторический опыт с образом народа в разных вариантах и аспектах — от потерпевших до виновников катастрофы, от жертв до палачей (причем порою те и другие психологически совпадают), от верных твердокаменных героев эпохи до романтических мечтаний и бредней российской интеллигенции.

Эта статья написана не Андреем Синявским — не в академическом ключе. Она построена на утрированной стилистике, с употреблением гротеска, иронии, болезненных субъективных эмоций и гиперболических допущений, которыми так богата и сталинская эпоха, и горестная повесть о верном Руслане. В статье я иногда опираюсь и на собственный лагерный опыт послесталинской уже поры. Отсюда, в частности, следует упоминание о лагерном поэте Валентине з/к, которого уже нет в живых, и о других лицах из числа моих тамошних грузей и знакомых, которые я проецирую на образы и мотивы Владимова. Отсюда же — смешанный жанр этой вещи. Это, если хотите, и критика, и публицистика, и в некотором роде лирика, автобиография писателя, и, если угодно, проза в духе фантастического реализма. Поэтому она и подписана давно уже избранным мною литературным псевдонимом —

Абрам Терц.

25/9, 1989 г., Париж.

— Он не зверюга. Он просто
травмирован службой.

Г. Владимов, «Верный Руслан».

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ:

Руслан — караульная собака, честный чекист, русский богатырь.

Хозяин — охранник.

Главный хозяин — начальник лагеря.

Трезорка }
Тетя Стюра } — народ.

Потерты й — бывший зек, вечный спутник Руслана.

Ингус — интеллигент, в некотором роде автор повести Г. Владимова.

Инструктор — собачий бог, alter ego Ингуса.

Джультбарс — собака, alter ego начальника лагеря (к нему обращен эпиграф настоящей статьи).

...Значит, снова — лагерь. Знакомые запретка и проволока. Эти слова, кажется, — «запретка», «вышка», «шмон», «вертухай», — не только въелись в национальное самосознание России, в ее язык и стиль жизни, но и обогатили наречия Европы и Америки, вошли в состав крови нынешнего мира. Как теперь без «запретки» что-то понять, объяснить — в смысле, что происходит, и вообще мироздания, земли и неба?.. Это наш космос — «запретка», наш дом, наш квадрат цивилизации. За него не выпрыгнуть, как не мог, предположим, античный мыслитель выйти за рамки «полиса» или, допустим, китаец за границы Небесной Империи, огороженные китайской стеной. И каким бы свободным, широким в данный момент нам ни рисовалось наше жизненное пространство, хотим мы или не хотим, мы — дети ГУЛАГа, пепел Освенцима, если вглядеться. И, просыпаясь утром посреди каких-нибудь французских парников или бразильских прерий, если прерии еще существуют, мы всегда, приглядевшись, узнаем опознавательные знаки эпохи: проволока, вышка, бараки и вертухай на вышке. Культура. Полис.

...Тем временем лагеря, запрятанные в землю, исчезнувшие, продолжающие, тихим маневром, затягивать и затягивать сети, — рожают и рожают. Давным-давно закопанные, истлевшие или спаленные кости становятся, странным образом, теперь чуть ли не единственной плодородной почвой, говорящей — зябкими побегами — о самом важном, о главном. О том, чем жить нам сейчас, сегодня, и во имя чего исчезать. Не говорю о немцах, не знаю, но русские лагеря еще породят и уже породили словесность удивительную в мире, от которой не скроетесь, не убежите, доколе и вы живете, и все мы с вами живем в XX веке — за проволокой. Попытки забыть, отвязаться, списать на Сталина, хватит, надоело, устали, ну, были ошибки и вышли, не наша вина, партия признала, — это тягостное молчание, дпящееся над убиенными душами, заведомо неповинными, аукнется, и еще как аукнется...

Новая повесть Владимова написана по следам и от имени собаки, специально обученной, натасканной на то, чтобы водить под конвоем заключенных, «делать выборку» из той же толпы и наступать за сотни верст рискнувших

на побег сумасшедших. Собака — как собака. Доброе, умное, любящее человека больше, чем сам человек любит своих сородичей и самого себя, существо, предназначенное велемием рока, условиями рождения и воспитания, законом квадрата выпавшей на долю ему лагерной цивилизации нести обязанности охранника и, если понадобится, палача.

О собаках существует большая литература. Имею в виду художественные образы — от «Белого клыка» до «Каштанки». Верный друг человека, собака, в присутствии которой сам человек как будто делается мягче и яснее, более похожим на себя — со стороны преданного и немного иронического собачьего взгляда, — на страницах книги становится нашим незаметным и неотступным проводником, тенью, помогающей разобраться, понять, кто же мы такие — двуногие твари, то кажущиеся богами по отношению к четвероногому брату, то каким-то нелепым, чудовищным отклонением от общей животной нормы, от вселенских представлений о добре и зле. Короче говоря, собака не только в быту, но и в литературном своем отражении помогает человеку познать самого себя.

Верного Руслана — если определять этот образ в общелитературных категориях и в собственно авторской, предложенной Владимовым шкале измерений, заведомо переключившей человеческие понятия на собачий язык и обратно, — иначе не назовешь, как еще одной, и притом итоговой, вариацией на тему «положительного героя» в советской литературе. Соответственно, и со стороны социально-этических нормативов Руслан вполне совпадает с представлениями о «передовом человеке», не выведенном, однако, специально, в инкубаторе, в качестве нравоучительной куклы, а взятом из жизни, как есть, как естественное ее порождение. Более того, Руслан — это «идеальный герой», которого так долго искали советские писатели, рыцарь без страха и упрека, рыцарь коммунизма, служащий идее не за страх, а за совесть, отдавший себя без остатка идее, вплоть до способности в любой миг пожертвовать за нее жизнью. Понятия о честности, о верности, о героизме, о дисциплине, о партийности, о нерасторжимом единстве личной и общественной воли — все то, на чем воспитываются с детства миллионы и миллионы двуногих и что именуется научно «моральным кодексом коммунизма», выражено в этом характере с чистой поистине ослепляющей. И то обстоятельство, что перед нами не человек, а собака, не меняет сути вопроса, но сообщает положительным свойствам Руслана только бóльшую органичность, простоту и трогательное правдоподобие, позволяя занять ему, может быть, первое место в лучшем ряду положительных героев. В этом отношении я бы осмелился провозгласить повесть о верном Руслане

вершиной, апофеозом тех идейно-воспитательных стремлений, которыми полнится вся коммунистическая пропаганда, рассматривающая искусство, мораль, политику, а порою и саму жизнь как собственный придаток.

И в то же время все эти положительные и героические начала, собранные в Руслане так, что он вырастает в живой памятник нашей эпохи, возбуждают у нас, читателей повести, скорбь и ужас, жалость и смех, горький смех: вот, оказывается, до чего можно довести человека, можно извратить собаку, обернув все добрые, природные задатки нашего естества на дело, противное жизни, на возведение и поддержание — клетки! Ведь не какие-то непонятные, невесть откуда свалившиеся на землю «злые существа» служат охранителями и исполнителями власти, символами которой навсегда останутся запретка и колючая проволока, а мы сами — обыкновенные люди и собаки, наделенные порою незаурядными талантами по части ума, верности, храбрости, самоотверженности, умения стоять до конца на страже порядка, принимаемого за идеал человеческого устройства. Тем более это относится к основной персоне повести, к верному Руслану, показавшему чудеса высшей собачьей добродетели — верности, к Руслану, который для службы, ради хозяина — «на все готов, пусть даже и умереть». В переводе на гражданские правила эти вполне натуральные, идущие от собачьего сердца добродетели можно довольно точно передать словами, более штампованными, к сожалению, но вмененными в закон человеку: «преданность делу партии Ленина — Сталина».

К этим достоинствам собаки следует прибавить присущие Руслану деловые качества — старательность, ряд профессиональных навыков (умение, скажем, производить ту же «выборку») и беззаветную смелость в борьбе, — заставившие его остаться последним героическим защитником режима, уже павшего в его измерениях и кинутого всеми. Правда, Руслану — с воспитательной точки зрения — недостает истинной злобы и жестокости, жажды первенствовать и руководить. Ему, что называется, не хватает апломба, нахрапа:

«— Смел, но не агрессивен. Некоторая эмоциональная тупость, — говорил с сожалением инструктор...»

Он слишком добр по природе и вместе с тем умен, рассудителен, самолюбив в лучшем смысле этого слова, чтобы лезть в лидеры, в вожди, и эту злобную роль вожака в лагерной стае берет себе, без зазрения совести, Джульбарс. Зато недочеты Руслана в агрессивности с лихвой искупаются преданностью делу, честным и бескорыстным служением, на которое не тянет и Джульбарс, с падением лагеря переходящий в приспособленцы. Итак, Руслан — богатырь лагерной России (не зря его называли — Русланом),

золотая середина, честный коммунист, каких уже мало осталось, рядовой патриот, пламенный середняк, добросовестный охранник — каменная опора Советской власти. Он — народен, этот Руслан, но он и партиен, идеен, и потому, что все же он — собака, то есть создание Божие, существо нелицемерное, органическое, мы, читая повесть Владимова, любим и понимаем Руслана. Вы посмотрите: разве сам он, лично, кого-либо убивает, над кем-то измывается, разве он садист, кровопивец? — да нет совсем, он даже кусать особенно не хочет, у него одна производственная забота, ради которой он, собственно, и живет: это чтобы соблюдался порядок, элементарный порядок, и шествующие привычными колоннами арестанты сохраняли бы предустановленный строй...

Вот произнес слово «строй», и оно в моем критическом сознании сразу развалилось на два значения: ну, первым делом, естественно, строй арестантов, распределенных по пятеркам, в окружении собак и автоматчиков («шаг вправо, шаг влево — стреляю без предупреждения!»), и другой, более отвлеченный, обширный, но все же «строй» — государственный, ведущий всех по пятеркам в светлое будущее... Ах слова, слова! Они всё сами знают — без нас, — слова! И если вы назвали, предположим, общество себе подобных и всю мировую историю — «строем», то так и останется на века — за вами — «строй», в виде сомкнутых колонн, бредущих из зоны в зону.

Но при чем здесь Руслан, такой славный, спокойный и человечный пес? При чем здесь мы с вами?! А при том, что в случае чего — а случай этот представился и совпадает с нашей эпохой — все лучшие возможности и способности человека, самые святые, — уверяю вас, самые святые! — перекладываются, сами того не ведая, с добра на зло, с правды на обман, с преданности человеку на умение заворачивать человека в «строй», а если он заартачится, брать за руку, за ногу, брать за глотку, рискуя, если потребуются, и собственной головой, и превращать глупую кучу по наименованию «люди», «народ» в гармонический этап арестантов — в «строй». Кто это изобрел, кто выдумал такую науку, по которой обучают и людей, и собак? Где искать виновника, первопричину? Кто-то валит (попроще) на Сталина, кто, более дальновидный, видит впереди Ленина за этим строем колонн, Ленина, бросающего палку в грядущее, — «апорт!». Кто, наконец, прозревает самого Карла Маркса в зачатке злоупотреблений, в начале марша, за который всю меру ответственности в конце концов должен нести Руслан, собака... Ведь если так продолжать, то, наверное, мы доберемся до самых истоков истории, до грехопадения человека. И это — правильно. Кто первым убил? — Каин! Кто предал? — Иуда. Но если все-таки, признав и Каина, и Иуду за наших основоположников,

перейти на более доступную непосредственному восприятию почву, то опять виновным в конечном счете окажется — Руслан! Может быть (для поблажки говорю), высочайший Инструктор, предусмотревший запретку, учивший ходить по бревну — сам на четвереньках, — делать «выборку» и так далее, вначале и не думал, что все так плохо кончится? Наверняка не думал, а просто учил собак и приспособлял к будущему, научному мировоззрению... Но нам-то, собакам, предоставлено самим разбираться в подаренном нам квадрате, в пределах «зоны», истории. С них, основопологателей, не спрашивается, а с нас — спросится. И здесь со стороны автора, Владимирова, вторгается в мозг и совесть еще одно мистическое понятие — Служба, то есть, говоря по-секретному, — **система...**

Мы питаемся слухами — даже в литературе. И вот лет двенадцать назад пронесся по Москве, среди интеллигенции, слух, что, дескать, появился рассказ, никем еще не читанный, неизвестно чей, — про то, как вскоре после смерти Сталина и преждевременной реабилитации, когда лагеря позакрывали, осталась без дела на местах, по соседним деревням и поселкам, масса караульных собак, специально приспособленных для несения лагерной службы, и чуть только местные, вольные толпы сойдутся, скажем, на Первомайскую демонстрацию или какое-то еще предусмотренное мероприятие, так сейчас же те собаки вылезают из своей конуры и принимаются строить вольняшек в арестованные колонны — как при Сталине. (Эхо: как при Сталине!) Не знаю, был ли, не был написан уже тогда этот чудесный рассказ, передававшийся, может быть, еще до его написания изустно, но та история с реабилитированными собаками, продолжающими честь по чести держать лагерную вахту в назидание потомству, по-видимому, и легла основанием в землю, послужив кульминацией нынешней книги Владимирова. Возможно, из этой смутной истории о лагерных овчарках, более преданных, оказалось, режиму, нежели сам режим, и выросла повесть о верном Руслане, исполненная доброты и сочувствия к тем оставленным Сталиным собакам, без дела пропадающим, и доискивающаяся до сути, до вопроса о том, как все это произошло, как могло такое случиться, что при всех прекрасных намерениях и задатках собака поставила предел человеку: «шаг вправо, шаг влево — считается побегом!»?

Здесь мы переходим к утопии, в условиях которой вырос и воспитался Руслан, ничего кроме предложенного ему «нравственного кодекса» и не нюхавший в жизни. В условиях, где тренировка, дрессировка на «отличника по злобе», на «отличника по недоверию к посторонним» (когда «посторонний», разыгранный чекистом в балахоне, изо дня в день предлагает яд, горчицу, втыкает иглу в ухо, внушая понятие собаке, что каждый «посторонний» — шпион,

враг народа) начинается с рождения, ничего другого и не может воспитаться из существа, полного любви и ревностного доброжелательства к людям. Мог ли быть лучше Руслан, чем он есть, мог ли он испытывать доверие к «постороннему», если еще щенком ему внушали — и не просто внушали при помощи слов, но всякий раз подтверждали слова чувствительным, болевым приемом, — что все «постороннее», вынесенное за регламент «хозяев», — безусловное и абсолютное зло?..

Мы недоумеваем, почему «хозяева», «начальники» без конца повторяют фразы, всем, и самим «начальникам», осточертевшие, типа: «социалистический реализм», «культ личности», «антипартийная группировка Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувший к ним Шепилов». Разве нельзя, по наивности мы спрашиваем, ну хотя бы этого Шепилова, про которого мы только и слышали, что он — «примкнувший», чуточку сдвинуть направо или налево, ну по крайней мере ввести его, подлеца, в полный состав «антипартийной группировки» без этого ничего не означающего, приевшегося эпитета — «примкнувший»? Ведь тогда бы мы что-то поняли, почувствовали, полюбили: вот наконец-то сами хозяева предоставляют, хотя бы самим себе, некоторую свободу слова! Может быть, с этого «Шепилова», немного переставленного, началась бы новая эра, поднялся бы энтузиазм! коммунизм!

Нет, нельзя, и вы не понимаете, что если чуть-чуть видоизменить «Шепилова» — все рухнет. Потому что все идейно-политическое воспитание собаки и человека держится на дрессировке. И нельзя вместо «ляг!» сказать «сядь!»: произойдет революция в сознании и все полетит под откос, и пусть уж лучше «примкнувший к ним Шепилов» так и будет «примкнувшим» — спокойнее.

И она себя — дрессировка, — знаете, оправдывает. Вот сейчас уже весь мир дрессируется на нескольких запавших в память словах: «антисоветизм», «антикоммунизм», «фашизм», «разрядка напряженности», «мир всему миру»...

— Так вы что — антикоммунист? Фашист? Противник разрядки? Поджигатель войны?!!!

— Что вы, помилуйте! Я всей душой — с вами! Я почти что коммунист. Только, пожалуйста, не произносите эти слова!..

Не идеология — дрессировка. Чем чаще повторять (с использованием болевых приемов) — тем сильнее. И не важно, что в результате бесконечных повторений не останется любви (энтузиазма! коммунизма!). Зато собака обернется человеком, а человек — собакой. Зато не идеология, не мировоззрение, но — радостные сигналы будут впрыснуты в жилы, в инстинкты жизни, в рефлексы:

«— Фас, Руслан! Фас!»

Можем ли мы после этого осуждать Руслана?

Мир, в котором ему довелось родиться,— прекрасен. Предусловленная гармония — запретка и проволока. Что может быть чище, что может быть справедливее в жизни, чем эти стройные колонны ведомых в небытие заключенных? Стекланный колпак Замятина в романе «Мы», проекты Оруэлла, сновидения Хаксли и Кафки сияют нам из преданных, любящих глаз Руслана. Он совсем не теоретик, он просто практик, исполнитель доставшегося ему счастья — «жить при коммунизме». В прекрасной, авторитарной системе, которая сама себе служит оправданием и без конца купается в собственных лучах, нет и не возникает сомнений. Служба — «лучшее, что пришлось Руслану изведать». «Лучшей наградой за Службу была сама Служба», а злейшее из зол, страшнее самой смерти,— отстранение от Службы. Сами заключенные, норовящие так или этак нарушить мировую гармонию, выйти из строя, бежать, покинуть эту «светлую обитель добра и покоя»,— лишь слабые и неразумные дети, с точки зрения Руслана, что-то недопонимающие и потому подвергаемые моральному воздействию, перевоспитанию, чтобы поняли наконец, «где им по-настоящему хорошо»,— в лагере. Он не испытывает к ним, коль скоро они повинуются, злобы или ненависти, а лишь легкое сожаление к их детскому недомыслию и,— как подобает боевому псу, честному служаке, помнящему непрестанно о долге,— «здоровое недоверие».

Как всякая утопия, лагерь замкнут в себе и представляет собою строгое подобие острова. Отсюда, в частности, так приставшая к живописанию лагеря литературная форма «робинзонады», то есть округлого, отгороженного от прочей действительности микрокосма, самим собою довольствующегося и заставляющего испытывать повышенный интерес к элементарным приметам своего специфического — лагерного, островного — климата и колорита. Лагерь — мироздание, лагерь — государство, где все, как подобает в обществе, в целостной системе, разложено по полочкам и, несмотря на экзотику местной флоры и фауны, соответствует макрокосму, только, может быть, в более чистом или утрированном виде. Лагерь — миропорядок, и в этом качестве — монады космоса и государства — предлагает нам идеальную композицию в жизни и литературе, откуда, не прибегая к абстракциям, мы можем узнать, что такое мир вообще и человечество в целом.

В золотистых глазах Руслана весь мир — лагерь. Если бы он мог (если бы он только мог!), он бы превратил весь мир в идеальное состояние лагеря. Во всяком случае, вверенный ему вольер, отведенное собаке пространство, он рассматривает как потенциальный лагерь, включая вольные, не обтянутые колючей сеткой поселки, которые, при всей безнаказанности отпущенной им по ошибке, временно,

свободы, только и грезят, и просят, как бы достичь им счастливой кондиции лагеря. Оттого и все персонажи в повести Владимова, — будь то вольные или зеки, охранники или собаки, — располагаются по осям, проведенным запреткой и проволокой. И поэтому они символичны, эти персонажи, — по отношению ко вселенной. И это не выдуманная, не изобретенная художником символика. Лагерь — ядро — символизирует в своих суженных атрибутах то большое и широкое, что раскинулось за его границами в незаконном и самонадеянном образе. Лагерь — столица. Лагерь — феномен, повествующий ежечасно о сущности.

Все, кроме караульных собак с их лагерными навыками, вошедшими в плоть и кровь и поэтому составляющими внутренний стержень режима, его альфу и омегу, его первое и последнее упование, обрисованы довольно условно. Но эти люди-символы и звери-символы, похожие на столбы, расставленные вокруг зоны, являют собой обязательные, насущные звенья в структуре. Достаточно услышать, как звучат их имена, более обобщенные, суммарные, нежели клички собак, — «Руслан» и «Джувльбарс», «Гильза» или «Аза»: **Хозяин**, которого иногда еще называют «Сержантом», а в лучшем случае, конкретнее — «Вологодский» («Так, сколько помнилось ему, не обращался к хозяину ни один двуногий: — Здорóво, вологодский»); **Главный хозяин** — лагерный сталин, именуемый временами столь же условно, по форме общепринятого обращения к начальству: «Тарщ-Ктай-Ршите-Обратицца» (отчего Руслан заподозрил, что людей, как и собак, дрессируют, с тем чтобы они без промешки реагировали на позывные слова-сигналы); **Потертый** (вечный лагерник); **Инструктор** (собачий бог); **«Войдите-В-Мое-Положение»** (лагерный доносчик, стукач) и т. д.

Люди безличнее, бледнее и мельче собак. И это не только потому, что они — **люди** (как в «Маугли»), то есть существа коварные, неверные, нецелостные, повинующиеся рассудку, неспособному одарить человека счастьем полноты и единства в логике и поведении, в чувстве и долге, какое от рождения обеспечивает инстинкт зверю. Нет, и помимо Закона джунглей собаки лучше, чем люди, впитали Закон проволоки и оказались в итоге его наиболее стойкими и последовательными адептами. Руслан и подыхая останется на посту, на страже лагеря, тогда как маршалы и министры, всей этой премудрой утопии Руслана и обучившие, позорно предавали ее и поспешно перекрашивались. Тончайшим инструментом системы, адекватным выражением Службы становятся не люди — собаки. Они скорее поддаются дрессировке и усвоенному однажды приказу уже не изменяют.

И все же между людьми и собаками, судя по Владимову, устанавливаются контакты, взаимная близость, основанные не только на вечной, врожденной привязанности собаки к человеку, но и на общности понятий, мирознания, поз-

воляющей нам рассматривать собачьи повадки как разновидность человеческой психики и идеологии. Взять, к примеру, того же **Хозяина** Руслана, лагерного надзирателя-профессионала. Будучи безусловно слабее и бесцветнее своего пса (он и более труслив, и более жесток, и менее самоотвержен), Хозяин как характер, косвенно пропускающий из-под его роли и должности, из-под его суммарной, символической клички — **ХОЗЯИН**, в общем, колеблется в тех же измерениях Службы, понимаемой как занятие вековечное и справедливое. Не так, как Руслан, не так ярко, но он тоже живет служебным вероучением, которое еще не окончилось с ликвидацией **данного** лагеря, которое еще придет, вернется и восстановит богоподобный порядок на попранной земле. Не будучи таким же красивым, талантливым и героическим, как Руслан, **Хозяин** Руслана демонстрирует собою примерно такую же «золотую середину» в системе охраны, главным достоинством которой почитается исполнительность. И он, как Руслан, не зол и не добр (правда, все ж таки собака добрее). И он все делает в меру, как положено по уставу, как честный службист, и зря не кусается (в отличие от Джульбарса и от Главного хозяина-вождя), проявляя известную широту взгляда в пределах, разумеется, отмеренных запреткой. Не пристрелил же Хозяин Руслана, хотя мог бы и пристрелить и уже намеревался привести в исполнение эту последнюю идею, доставшуюся ему в наследство от лагеря. Впрочем, не из жалости, не по доброте душевной не пристрелил, а просто, должно быть, почуял в Руслане своего брата-охранника, как и он, отрешенного от Службы, — и не выстрелил, опасаясь случайного самоубийства*.

Второй двойник Руслану (уже в роли антипода) — Потертый. Бывший зек, изучивший всю эту Службу, науку, — с обратной, изнутри, стороны. Бывший зек, отравленный лагерем, привязавшийся к лагерю, неспособный уже жить на свободе ничем иным, кроме этих тягостных, мучительных

* Были случаи самоубийств в лагерях — в период их частичного, ударившего по сердцам упразднения, когда зашатались устои; Сталин и Берия и бывшие чекисты, служившие верой и правдой, вдруг почувствовали себя не у дел, вроде бы потерявшими весь, доселе оправданный, смысл жизни.

Заглядывает опер в землянку, а там, в предвкушении близкой амнистии, обнаглевшие зеки дуются в карты, в открытую, да еще издевательски приглашают Хозяина: — Присаживайся, начальник, сыграем!..

Им бы в другое время — за это!.. Но начальник ничего не ответил. Постоял-постоял и ушел. А через минуту в зоне — выстрел! Подбежали — лежит: в себя. Значит, честный был все-таки чекист — этот опер...

Правда, подобные эпизоды — в редкость. Но и Руслан ведь — редкость...

воспоминаний о лагере. Одно слово — Потертый. Как знакома, как близка нам эта фигура! Бывало, спросишь приехавшего, пригнанного по второму сроку арестанта: — А ты там, случайно, на воле, не скучал по лагерю? — И, случается, человек этот, похожий на натянутую струну, пронзенный непонятной болью по свободе (вот именно — по свободе!), отзовется: — Скучал! Да еще и как! Как выпьешь немножко, так и, понимаешь, старик, так и тянет обратно в лагерь. Просто — тянет. Тоска!.. —

Ты душе — глоток озона:
Здравствуй, зона! —

писал лагерный автор, лучший лагерный поэт Валентин Соколов, просидевший ни за грош, с небольшим перерывом, семнадцать лет в лагерях (сначала семь — при Сталине, а затем десять — в наше время), а недавно пошедший, раскрутившийся по-новой, в третий раз, в лагерь, избравший себе псевдонимом горестно-ироническую кличку: «Зекá» — Валентин з/к.

Так вот Потертый из той категории, из этой породы людей, приверженных к лагерю, хоть больше всего на свете они ненавидят — лагерь. Как понять это явление, это странное состояние души, — не берусь рассудить. Только знаю, доподлинно знаю, что такое — бывает.

Вы говорите: «контрик»!
Вы думаете, просто это, —
Когда я вижу ваши контуры
В словах малинового цвета?
Я прохожу между кафтанами
И треугольниками лбов,
И вы мне серыми, картавыми
Словами тычете любовь
К обсосанному вами вымени...
И вами — в имени моем,
Ярясь, распластывает линии
Огромный сумасшедший дом...
Вы думаете, просто это?..*

Кстати, оттого Потертому с его тоскливыми монологами на лагерную тематику и отдано столько внимания в повести о Руслане, о собаке, которая, строго говоря, не смогла бы понять эти скорбные и долгие речи и тем более перефразировать их своим собачьим сознанием. Так что — нарушение жанра? Искривление стиля? Если бы Потертый как символ, как характер не оказался бы вдруг у Владимова вариацией Руслана, представленного, однако, в этом лице с противоположной стороны — охраняемых. Вечный

* Цитирую по памяти — Валентин з/к.

подконвойный (Потертый) и вечный конвоир (Руслан) сходятся на одном — на невозможности расстаться с призраком лагеря, вроде бы внешне исчезнувшего, но запавшего в душу, совпавшего с биографией, с жизнью, останками которой оба они и питаются — бывшие противники, полюса, антиподы, только и могущие существовать в этом извращенном, противоестественном альянсе, претворенном уже в их природу, — жертвы и палача, охраняемого и охранника.

Итак, Руслан в Потертом, после упразднения лагеря и предательства Хозяина, нашел антихозяина, которому он верен исключительно как символу отошедшей эпохи, как наглядному пособию, доказательству, что та эпоха была на самом деле, а не приснилась ему, притом — отрицательному символу, со знаком минус, да и то верен временно, до той блаженной поры, когда вернется наконец настоящий Хозяин и вновь все поставит на свое законное место. Потертый же, как мы знаем, по выходе из лагеря обосновался в близлежащем поселке, у тамошней бабы, тети Стюры, не в силах уйти далеко от уже не существующей, но притягивающей как магнит, пожравшей жизнь и душу — запретки. Таким образом, вместе с Русланом мы входим в новый, более пространный круг бытия, представленный персонажами повести — людьми и собаками. В данном случае тетя Стюра со своим псом Трезоркой больше, чем кто-либо другой, рекомендует общество вольных, «простой народ», то есть среду, не имеющую непосредственного касательства к идеальному, лагерному порядку, четко разделенному на конвоиров и подконвойных. Однако выясняется, и сюда, в область свободы (разумеется, относительной), протянул свою цепкую руку Закон проволоки, калеча самую что ни на есть здоровую, народную почву и обращая всю страну в «большую зону», как ее называют зеки, различая от «малой зоны», от лагеря, от тюрьмы, находящейся в центре, всегда в центре, в самой сердцевине — «большой».

Тетя Стюра — единственное в повествовании человеческое существо, удостоенное собственного имени, хотя имя ее — Стюра — на русское ухо звучит странно, возбуждая родные, интимные и вместе с тем туманные, неясные ассоциации. Даже сожитель ее, Потертый, в минуты откровенной признательности удивляется в радостном раже:

«— Стюра! А, Стюра? — спрашивал он. — Это что ж за имечко у тебя такое? Никогда не слышал».

Автор не разъясняет загадки. Но исходя из фонетической, музыкально-национальной окраски имени. Стюра, позволительно услышать в нем (тем более в сочетании «тетя Стюра») нечто пускай и расплывчатое, стертное, обобщенное (как прочие безликие имена — Потертый, Казенный, Хозяин, Инструктор), но все же, — я бы решился, — нутряное, раздирающее, уводящее вглубь, в сырые,

влажные клады матери-земли, тоскующее упование — Стюра! Дородная баба, очевидно доступная всем случайным постояльцам, от вчерашнего капитана (Главного хозяина зоны) до сегодняшнего последнего зека (Потертого), она являет собою — разумеется, в отпущенных ей сдержанным текстом пределах — состояние нации в целом на нынешнее время и, если угодно, служит олицетворением «народа», взятого в широком и неопределенном значении слова. Трудно в жизни найти бабу старому лагернику более добрую, понятливую и притом ничего для себя лично не желающую урвать от застрявшего в ее доме, кормящегося при ней мужика. Вероятно, к Потертому, который сам по себе ничего уже не стоит и весь пропах дымящимися за его спиною лагерными рассказами, притянула ее обыкновенная бабья потребность кого-нибудь пожалеть. И эта потребность, надежда воскресить мертвого толкает ее попытаться вдохнуть в Потертого утраченную радость свободы, способность забыть о лагере, вернуться к нормальной жизни, к работе, к оставленной когда-то семье, ради чего Стюра готова отказаться от собственного недолгого бабьего счастья и не просто **отдать** прилепившегося к ней, полюбившегося человека, но заставить его уехать от нее и от лагеря. (Потертый, понятно, на такое не способен, как не может Руслан оставить вверенный ему пост.)

И вдруг женщина, принадлежащая к разряду, который мы привыкли, по всем хрестоматиям, обнимать протяжным, нравственным, тоскующим определением — «женские образы в русской литературе» («есть женщины в русских селеньях!..»), то есть чуть ли не сама Россия в ее природном, почвенном образе, — оказывается, при ближайшем рассмотрении, снова какой-то двойниковой аналогией караульному псу Руслану, прошедшему хорошую школу по «недоверию к посторонним» и натасканному на растерзание всякого диверсанта. Вот Потертый, спохватываясь по пропавшей жизни, принимается в мечтах рисовать радужные картины — как бы надлежало ему раньше, с полсрока, драпануть из лагеря, знай он тогда, заранее, что под боком, в тишине, обитает живая душа, сердобольная тетя Стюра, умеющая и убереечь, и обласкать арестанта. Но Стюра не дает ни минуты ни ему, ни нам, читателям, понежиться на мечтах о прекрасных исконных свойствах народа, всегда привечавшего «несчастненьких» — каторжных. Она бы тогда, выясняется, — доложила в оперативку.

«— Ты опять не то говоришь, — сказала она уже с тем вскипающим раздражением, с которого начинались их ссоры, доходившие до крика... — Нет, это не сомневайся — пустить бы пустила. И пожрать бы дала. И выпить. Спал бы ты в тепле. А сама — к оперу, сообщить, вот тут они, на станции, день и ночь дежурили.

— Так бы и побежала?

— А как думаешь! Люди все свои, советские, какие ж могут быть секреты? Да, таких гнид из нас понаделали — вспомнить любо.

— Да кто ж понаделал, Стюра? Кто это смог?»

Короче, из Стюры, из тысячей Стюр, понаделали верных Русланов, пользуясь для этого не только каким-то гнильем, отбросами народа, но, что самое печальное, его добрыми свойствами — вроде той же верности, чувства истины и справедливости, вековой жажды родства, братства (понятия «свой» и «чужие»). Тренировка на «шпионов», на «изменников Родины» произвела на свет не какую-то особую, безнациональную нацию и не породу «новых людей», потерявшую представления о добре и зле. Нет, духовные и нравственные потенциалы народа остались (как тетя Стюра осталась тетей Стюрой), да плод с этой почвы уродился горький...

Приведу пример из жизни на тему антиномии — «беглые зеки» и «вольные люди». Недостреленные беглые, пойманные и водворенные в зону с помощью вот такой расторопной, добросердечной тети Стюры, прошедшие по всем кругам ада, избитые до полусмерти охраной и местным населением (даже дети плевали и пинали), рассказывают:

— Шли лесом. Встретили случайно двух деревенских девок. Надо было зарезать, да мы — пожалели. Ушли. А через час нас и взяли: девки донесли в сельсовет. До сих пор не могу простить себе, что мы их тогда не зарезали!

А ведь не звери ни эти беглые, ни девки — не выродки, не убийцы, не продажные твари и входят с двух полярных сторон в общее тело нации (ну, как Потертый и тетя Стюра). Вероятно, как нравственно-психологические величины они в принципе могли бы поменяться местами, а ситуация останется старой, безнадежной: надо бы было зарезать! — нельзя не донести!..

«Что вы сделали, господа!» — стоит в эпиграфе повести, обращенном, возможно, к невидимым «руководителям», «основоположникам», кто придумал эту самую, высокую, будь она проклята, науку: — Что вы сделали, господа, с человеком, с собакой?!

«— Да, таких гнид из нас понаделали — вспомнить любо», — вопиет тетя Стюра, приходя в себя, начиная высвобождаться из туманного наваждения.

«Зачем ты это сделал, брат?» — хотел спросить умирающего Руслана дворовый пес Трезорка, оказавшийся свидетелем его последней героической службы, а потом и последним его защитником-телохранителем: — Зачем ты такое сделал над ближними, над собой?!

Трезорка, как и тетя Стюра, проливает свет на категорию «народ», не причастную к зоне с ее жесткими кастами конвоиров и подконвойных и промышляющую кто где и

чем придется, применительно к обстоятельствам жизни далеко не легким, но лишенным сакраментальных обязанностей лагерного охранника. Трезорка — на языке социальной антропологии — это, так сказать, рабоче-крестьянский пес, лицо беспартийное, неофициальное, не военное, а сугубо гражданское и даже частное, каких в газете величают обычно «простым советским человеком», а в быту кличут по-старинному — «мужиком». «Криволапый, низкорослый, с раздутым животом», Трезорка, как и Стюра, его хозяйка, принадлежит к беспородной помыкаемой «массе», весьма пестрой, разномастной по характерам, однако живущей не по приказу, не замороженной марксистской наукой, а — собственным, пускай недалеким, умом и опытом, руководствуясь здравым смыслом, каким от века обходился и обходится русский народ. По отношению к Руслану, идеальному герою, Трезорка выступает в нескольких как бы исключаящих друг друга аспектах: он, бесспорно, и низшее существо, склонное к подобию страсти, к мелким хитростям и компромиссам, и одновременно чем-то превосходящее лагерного вояку — хотя бы своей принадлежностью к низкорослому, но веселому и вольному племени, — в выборе поведения способное если и не на такие уж ответственные, героические дела, то все же и на бóльшую широту, дружелюбие, терпимость, сердечность и на подлинное благородство.

Но если нам понятны преимущества безыдейного Трезорки перед дрессированным Русланом, как понятен, в общем, и его грустный упрек, обращенный караульному псу, то больнее и тревожнее пытаться отвечать на вопрос, почему в глазах «народного» Трезорки Руслан остается все-таки недостижимым идеалом, возбуждая обожание, преклонение отнюдь не лицемерные, но связанные, по видимому, с изначальной потребностью в чем-то светлом и справедливом. Что, ему мало одного «культа личности» и подавай немедленно следующий? Или ему не хватает хозяйственных «успехов и достижений», которые, на поверку, богаче представлены в том же Трезорке, нежели в великолепном Руслане? Или нужен ему непременно крепкий, авторитарный порядок в обществе, где бы все ходили по струнке и отдавали честь по форме вышестоящим собакам-начальникам? Нет конечно. Трезору нужен символ абсолютного пса («настоящего человека» — как сказали бы люди), символ высший, непреложный, а Руслан для этой миссии больше всего и подходит. Руслан не только — «верен». Верен и Трезорка своему курятнику, что даже и порядочнее и перспективнее, чем быть верным — лагерю. Руслан — «верующий». Руслан — озаренное сверхприродной идеей «веры» существо, презревшее всю суетность, всю низкопробную выгодность и обыденность жизни, доколе нет в ней этой неистовой, сжигающей его изнутри «веры».

Не просто дрессированное (все — дрессированные), но — пошедшее дальше, **за и над** дрессировкой, к последней цели. Трагедия Руслана не в том, что не оставили его в покое, как большинство собак, на уровне Трезорки, и произвели над ним душевную вивисекцию (ну были бы все простыми собаками и виляли бы хвостами!). Трагедия Руслана, и да простит меня читатель за подобное сравнение, — трагедия России, чьим не просто очередным порождением-вырождением выступает Руслан, но единственным борцом, знаменосцем, — что нет иных свершений для алчущей высшей правды и подвигов души в отмеренном ему историческом круге жизни, чем подлый лагерь, за который он и принял законную гибель. Он мог бы спасти детей, тонущих в море, переправлять чужестранцев через Альпы и Кордильеры, лезть под танки, оберегать слепых и беспомощных пророков для счастья всего человечества (как это делали его братья — «животные-герои» Сетона-Томпсона, только он сделал бы это быстрее и самоотверженнее), а ему досталось, выпало на долю, — всю жизнь стеречь арестованных. Ну, он и перестарался...

По своим природным, духовным достоинствам Руслан явно превышает отведенные ему эпохой, историей кондиции. И остается одиноким, непонятым богатырем, Русланом, служащим в охранниках. Поэтому, вероятно, Трезорка — ради этих колоссальных загубленных потенций Руслана — и прислуживает ему, и становится, плача над ним, его осуждая, его же душеприказчиком, не в силах, однако, переложить на свои кривые, низкорослые плечи тот тяжкий груз, на который был падок Руслан...

А ведь добрый был пес! И добр человек, и добр народ, этого пса взрастивший и этим же псом ограниченный, препровождаемый в ад, где все на всех доносят и стерегут друг друга. Так в чем же дело, где выход, господа?! И кого нам надо зарезать, а на кого доложить оперу?.. Круговая порука!

И наше положение было бы беспросветным, и не помогли бы нам ни Руслан, ни Потертый, ни тетя Стюра, ни Трезорка, когда бы автор, собравшись с силами, не ввел, между прочим, сюда, в мыслимую картину лагеря-государства, еще одного актера — собаку по романтической кличке «Ингус». Ингус — это отступление от общих правил, выход за границы исторического опыта, за навыки человеческого и собачьего царства — в сторону безотчетной свободы. Ингус рядом с Русланом, не говоря о прочей своре, — чистейший интеллигент, аристократ. Притом натура художественная, поэтическая. Быть может, гениальная. Что там чеховская Каштанка, откликавшаяся радостным лаем на восклицания: «— Талант! Талант!» Каштанка — при всей нашей симпатии к ней — все же из породы Трезорок. А Ингус — это Ингус! Принадлежа по рождению и профессии

к ведомству караульной Службы, он эту глупую службу попросту игнорирует, наделенный сверх меры пониманием вещей, нестандартным мышлением и способностью производить все то несложное, чего от него так долго и уныло добиваются хозяева, — безо всякой дрессировки, без труда, но зато и без видимого рвения и желания преуспеть. Занятый мыслями, которые одному ему ведомы, в грустной и праздной мечтательности, — позволяющей, если искать аналогии в русской литературе, сравнивать Ингуса с Татьяной Лариной, — в мечтательности, которая словно заранее прозревает, что ждет его, не от мира сего существо, в нашей земной юдоли, он влечется к природе, к лесам, однако не с тем, чтобы вернуться к первообразной форме волка, но предаться мягкому и чистому созерцанию — «поэзии безотчетных поступков». Видите ли, уйдя в лес, Ингус делает никому не нужные, бесцельные — **повальясики!** Вспоминаются Мандельштам, Пастернак...

Случайно ли Мандельштам, более всего склонный, как вспоминают с неодобрением современники, к «чистому искусству», **первым** в русской поэзии написал, казалось бы, вопреки собственному вкусу и призванию, — сатиру на Сталина, за что и поплатился по всем стандартам эпохи *. Что ему, Мандельштаму, спрашивается, не сиделось в его «башне из слоновой кости»? Сейчас, когда все мы стали умными, и рассуждаем, и спорим, кто дальше, кто сильнее двигает Россию вперед — ленинисты или фашисты, патриоты или западники, либералы или сторонники, напротив, новой авторитарной разрядки, — как-то забывается этот ранний опыт, приведший Мандельштама на каторгу, а Пастернака к «Доктору Живаго». Но на водяную кишку — на апокалипсического змия, — поливающую людей — до смерти, в льдышки — на сорокаградусном морозе, — кинулся Ингус! И возглавил, невольно, сам о том не заботясь, лагерное восстание испытанных караульных собак — Ингус. Тоже мне — представитель «чистого искусства»!..

Так что не станем презирать этих мечтательных интеллигентов (хлипких, как сказал товарищ Ленин, дряблых, как добавил товарищ Сталин). Мордовать интеллигенцию вошло у нас в обычай: все равно не ответит, не попрет же она против народа, ежели именем народа ее хорошенько осадить, хлобыстнуть, — уж больно совестливая, хлипкая. Да и вообще прослойка по сравнению с народом. А между тем в композиции жизни, начерченной в книге Владимова, одна надежда, мечта, еще как-то пробующая если не порвать, не перегрызть змею, то хотя бы вздохнуть по свободе, — Ингус...

Правда, вторым номером, следом за Ингусом, на злую кишку, замораживающую людей на катке, бросается Рус-

* «Мы живем, под собою не чуя страны...» и т. д. — 1933 год.

лан. И это опять говорит многое в его пользу: значит, не просто он заклятый опричник, а несет в душе запас великих неудовлетворенных возможностей. И все же Ингус выше, тоньше — духовнее Руслана. Если Руслан — герой, то Ингус — поэт, подчас, в особенности у нас в России, прокладывающий дорогу — герою. Очеловеченная собака Ингус более всего человечна не своим исключительным умом или иными прекрасными собачьими статьями, но главным образом заложенной в нее свободой воли, вплоть до свободы выбора, на которую и люди-то не всегда оказываются способными. Оттого-то весь образ поведения Ингуса характеризуется непредсказуемостью — неожиданными поступками. И потому же ему в наибольшей степени свойственно сознание виновности, греховности роли, к которой его привязали хозяева, отчего он и грустит, и тоскует, и не находит себе места. Раз ты свободен внутренне — так и отвечай за себя!

В паре Ингусу, единственному интеллигенту в собачьем хороводе, дается (как Руслану — Хозяин, как Трезорке — тетя Стюра) единственный интеллигент среди здешних людей — Инструктор (у них и клички созвучны: Ингус — Инструктор). И в то время, когда Ингус совершает свой самый яркий непредсказуемый поступок и, подымая собачий бунт, достигает высшей очеловеченности, Инструктор, привязанный к Службе лишь любовью и интересом к собакам, тоже бунтует и, сойдя с ума, обращается в собаку. Это отвечает общему образному строю повести, где люди представлены псами, а псы людьми. Однако безумный Инструктор, встав на четвереньки и гавкая по-собачьи, свидетельствует своим непредсказуемым поступком не о падении человека, а, напротив, о его, человека, духовном прозрении. Ибо Инструктор, сойдя с ума, замещает собою убитого Ингуса, становится полноправным Ингусом в его звездный час.

«— Я Ингус, поняли! Ингус! — выкрикивал он свои последние человеческие слова. — Я не собаковед, не кинолог, я больше не человек. Я теперь — Ингус! Гав, гав!»

Вот как, значит, высоко сумел вознестись Ингус в системе предложенных ценностей! И, обращаясь в Ингуса, внезапно, одним махом, вырастая в наших глазах, Инструктор призывает собак уйти от людей в лесные дебри, где «они будут жить как вольные звери, одной неразлучной стаей, по закону братства, и больше никогда, никогда, никогда не служить человеку!» Что это — реминисценции Маугли, зов предков, поэзия джунглей? Нет, в контексте запретки лес знаменует не просто возврат к природе, к первобытной дикости зверя, но порывистое движение ввысь — к любви и свободе. «Никогда не служить человеку», уничтожившему человеческий образ, это и следует, в данный момент, сделаться человеком. Инструктор, сходя с ума,

пытается пересказать питомцам завещание Ингуса — «последние человеческие слова».

Нужно ли пояснять, почему обоих «интеллигентов» за незаурядный интеллект ждет похожая участь? Одному — автоматная очередь в лоб, второму — психушка...

...Следуй за стилем и логикой повести о верном Руслане, но жди вопроса: возможно ли, допустимо ли сравнивать людей с собаками, да еще в рассуждении «большой зоны» — страны, народа, планеты?! Разве это не кощунство, не глумление над человеком и вообще над всем большим и светлым в нашей жизни? Пускай сам себя сравнивает с собакой! От этих обвинений мыслимых пуристов спешу оградить автора повести: он и сам не отделяет себя от собак и, кроме заглавного героя — Руслана, от лица которого строится повествование, смотрит на жизнь, если судить по художественному счету, грустным взглядом Ингуса. Тот, как известно, «когда хозяин начал его хлестать, очнулся наконец и поглядел на него с удивлением и жалостью».

Два чувства — **удивление и жалость** — представляются определяющими, авторскими чувствами, не только доминирующими в книге, но и позволившими Владимову написать эту книгу. Начнем с **удивления**, которое не сводится к тому, что автор как будто все время задает загадки читателю, удивляясь на им же самим описанные факты: как такое могло произойти, что вот люди и звери вдруг поменялись ролями? Или — почему прекрасные семена, посеянные в каждом живом создании, вдруг произросли и трансформировались на Службе в собственную противоположность? Помимо этой собственно концептуальной стороны произведения, о которой уже говорилось, чувство удивления, здесь преобладающее и связанное с «собачьим взглядом» на вещи, позволяет всем обыденным, простейшим приметам действительности, давно примелькавшимся, утратившим содержание и форму, как бы заново оттиснуться в нашем удивленном сознании. Господи, да как же мы раньше не удивлялись, видя это! Тем самым, возбуждая удивление, мир становится достойным того, чтобы его воспроизвести, закрепить на бумаге, чтобы его запомнить и осмыслить. Эпоха, действительность, быть может, первоначально, сгоряча, обиженная, что художник так непочтительно с ней обращается и «все искажает», ставит с ног на голову (те же люди и собаки, предположим), в конечном счете должна быть и будет благодарной художнику за то, что тот ее таким удивительным образом увековечил, и, значит, она уже не канет, не исчезнет бесследно в Лете, как прошли без памяти какие-нибудь обры или хазары. Не будь, допустим, Руслана, верного Руслана, от нас не осталось бы в итоге положительного героя в этом девственном и гордом обличье, да еще почерпнутого из глухой, выморочной среды лагерной «вохры», где, кажется, никогда ни-

каких героев и не снилось, а только одни — «мусора» да «вертухай»...

Нет, на месте чекистов я был бы доволен. Я был бы счастлив от повести «Верный Руслан»: это ведь подобротнее зыбких воспоминаний о Блюхере и о Рюмине. Говорят, Рюмин страшно кричал, когда его волокли на расстрел... А вот Берия, напротив, вел себя спокойно. «Погодите, придет еще на вашу голову Берия!» — повторяют время от времени лагерные начальники нынешним арестантам с угрозой и с надеждой. Да и среди зеков сегодня кто-нибудь из отпетых стариков-бериевцев, досиживающих четвертак за свои и за чужие проделки и пристроенных начальством на самые деликатные должности — от лагерного «библиотекаря» до созерцательного «кладовщика», — в чем проявляется бережное отношение «своих» к «своим», пусть временно и потерпевшим крушение, товарищам, — нет-нет, а воскликнет, заламывая руки: — За что?! Одного не понимаю — за что? Мы же были — солдатами, верными солдатами! Вернее никого не было! Нас бы вернуть, позвать!..

Эх ты, верный идеалист — Руслан...

Для собаки многое в человеческом поведении кажется невероятным, странным, и потому «собачье восприятие», примененное к тексту столь последовательно, открывает простор всевозможным формам художественного «остранения», вливающего свежие силы в искусство, а возможно, и совпадающего с его странной, необъяснимой природой. И «остранение» здесь, у Владимова, не просто очередной формальный прием, с успехом использованный, — но универсальный способ видения и постижения жизни. Потому что поистине странен и удивителен мир, в котором мы родились, а раз странен, то, значит, заслуживает, чтобы его изобразить, описать. Так что не надо сразу обижаться на собак, с которыми нас сравнивают. Они хорошо поработали и помогли созданию повести.

Возьмем для иллюстрации какой-нибудь частный случай восприятия привычных вещей, которые благодаря участию собаки становятся неожиданными и начинают играть новыми красками, наводя на размышления. Вот, к примеру, Руслан наблюдает митинг в честь приехавших молодых строителей, на котором кто-то из местного руководства зачитывает по бумажке приветствие, а кто-то из новопривывших — тоже по бумажке — отвечает. Произнесение речей «по бумажке» — от главы государства до последнего выдвинутого на трибуну работяги — давно уже стало бытом, над которым мы все посмеиваемся, видя в нем очередное, не нужное никому торжество казенного пустословия. Но в глазах Руслана ораторы не «читают по бумажке», а ей, бумажке, читают, ей рапортууют, а не людям («...Развернул бумажку и стал ей говорить что-то длинное-длинное...»);

«своей бумажке он говорил уже чуть покороче...»). И этот небольшой сдвиг стереотипной формулы, не меняя сути дела, меняет ракурс, заставляя острее почувствовать и всю нелепость подобных речей, и их, так сказать, высший бюрократический смысл, когда люди живут и говорят не друг для друга, а для бумаги, заместившей человека и общество.

Еще более остранный, гротескный образ, наводящий на мысли о судьбе родины, истории, приобретают два истукана в скверике перед станцией, всем хорошо знакомые в лицо, так что нет нужды называть их по имени; и тоже — посредством собачьего восприятия, которое в данном случае неожиданно оказывается осмысленнее и даже историчнее, нежели наш обыденный, притерпевшийся к этим статуям взгляд. Удивление как бы промывает нам глаза и помогает глубже узнать уже известные вещи.

«...Два неживых человека, цвета алюминиевой миски, зачем-то забрались на тумбы и вот что изображают: один, без шапки, вытянул руку вперед и раскрыл рот, как будто бросил палку и сейчас скомандует «апорт!», другой же, в фуражке, никуда не показывает, а заложил руку за борт мундира — всем видом давая понять, что «апорт» следует принести ему».

Удивительная пара, и что бы она, читатель, могла обозначать?!.. Однако хватит удивляться и вспомним о жалости, с какой посмотрел Ингус на своего хозяина, — о второй, не менее важной побудительной пружине нашего повествования.

Первое, непосредственное впечатление от повести «Верный Руслан» располагает сравнивать ее либо с книгами о лагерях, либо с рассказами о животных, вроде «Холстомера» или чеховской «Каштанки». Но возможен и более растяжимый взгляд, вписывающий книгу Владимова — не по формально-тематическому, а по нравственно-проблемному в первую очередь признаку — в более широкую и концептуальную, что ли, традицию русской словесности, начатую Акакием Акакиевичем Гоголя и продолженную Достоевским. Русская литература всегда была исполнена трепетного внимания, интереса и любви к страдающему брату, в чем, возможно, полнее всего сказались ее скрытые или явные христианские устремления. Но сейчас речь пойдет не вообще обо всей громадной, необозримой массе «униженных и оскорбленных», о которых писали и будут писать русские авторы, но только об одной, специфической категории лиц, которых, с разной долей допуска, можно обозначить существами, в нравственном смысле погибшими, падшими и как бы уже заранее потерянными для человеческого к ним снисхождения и сострадания. Оттого я и назвал в качестве зачинателя этой традиции Гоголя с его «Шинелью» (можно, разумеется, выбрать и иную точку отсчета): Акакий Акакиевич Башмачкин — не просто «бед-

ный человек», но насекомое, никому не интересное, не нужное, словно бы от рождения вычеркнутое из списка достойных на жизнь, а тем паче на серьезное писательское участие. И это существо подверглось у Гоголя анатомическому, жестокому и сострадательному исследованию, которое безо всяких поблажек и сентиментальностей привело в итоге к человеческой реабилитации Акакия Акакиевича.

Различия столь велики, что естественно задаться вопросом: а какая, собственно, связь между Башмачкиным и Русланом и разве похож этот мизерный, замордованный, но все же человек на могучего, героического красавца пса, который, хотя мы успели к нему привязаться, все же, извините, собака? Конечно — непохож, **почти** непохож. Но мы здесь имеем на примете отнюдь не прямую, не бросающуюся в глаза, а скрытую, генетическую связь, которая формирует **единство** литературы (при всем разнообразии материала, идейных запросов и вкусов) в качестве целостного, органического и развивающегося тела, позволяющее писателям вчера находить — в одном, совершенно определенном месте — то, что завтра, в иной вариации, другие авторы обнаружат и продолжат в другом. Потому мы и можем говорить: «**русская литература**» (как бы подразумеваемая некий движущийся, но единый организм), пускай в начале стоит Акакий Акакиевич, а в конце на него непохожий, самостоятельный Руслан.

Впрочем, есть тут и более близкое социально-психологическое, жизненное родство. Оба персонажа, возбуждая сочувствие авторов, принадлежат к казенной, безликой, исполнительской Службе, которая по существу исчерпывает их интересы, предопределяет роковую судьбу и лишает шансов проявиться по-иному, в другом измерении, нежели вот в этой запрограммированной форме ничтожного чиновника или казенного караульного пса. И посмотрите, оба они в своих лимитах по-своему счастливы и находят в Службе высокий резон, непреложный смысл бытия, принимая ее за единственную возможность существования*.

Чтобы почувствовать по-настоящему, какую дозу авторской симпатии и понимания снискал Руслан, следует помнить, что такое караульная собака вообще с ее суровыми функциями — не этот конкретный, персональный Руслан, уже открывшийся нам изнутри как осмысленная неповтори-

* При всей несопоставимости «департаментов», в которых им выпало служить, к Руслану во многом применима гоголевская характеристика должностных качеств Акакия Акакиевича, также исполненная чрезвычайно противоречивых авторских чувств и движений — от ужаса до восхищения, от смеха до скорби:

«Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, нет, он служил с любовью».

мая личность и потому вызывающий у нас братские чувства, а — сама его должность пса-охранника в глазах бесчисленной охраняемой массы. Эти глаза, тоскующие и проклинаящие, глаза затравленных тысяч ни в чем не повинных людей, составляют грозный эмоциональный фон повести, хоть и не ими одними оцениваются повадки Руслана. Если бы только ими, без авторского вмешательства, без авторского вхождения в искаленную, но по-своему добрую и любящую душу собаки, то эта хозяйская тварь, покуда она исполняет свою паскудную службу, никакого глубокого отклика не пробудила бы в нас, кроме, в лучшем случае, холодного отчуждения. Палач — ведь это всегда однозначно: палач. Да, собака невиновата, что ее приставили, научили стеречь и мучить людей по всем правилам охраны. Но там, где нормальные человеческие отношения извращены до приведения в действие какого-то адского замысла, где человек поставлен рабом собаки, она в своем служебном рвении немедленно для него обращается в гнусного, бесчувственного зверя, которого и пришибить не жалко. Другое дело, что человек свободнее (внутренне), рассудительнее и отходчивее собаки, так что, оставленный от должности, Руслан возбуждает в Потертом не только привычные навыки арестанта, но и дружеские симпатии. Но в работе тот же Руслан, взятый обобщенно, как идеальный охранник, достоин, чтобы ему отвечали тем же, чем сам он промышляет, — хитростью, презрением, насмешкой, ненавистью, инстинктивной жаждой любыми путями избавиться от всемогущего пса.

В лагере складываются десятки рекомендаций, быть может, большей частью вымышленных, легендарных, на эту тему — избавления. Если, допустим, идешь в побег, рекомендуется намазать подметки салом заблаговременно зарезанной собаки (лучше — щенячьим), и пущенные в погоню русланы, говорят, не возьмут след, забоятся...

Правда, и здесь, в этих условиях борьбы не на жизнь, а на смерть, в виде исключения случается какое-то странное, необъяснимое взаимопонимание между загнанным человеком и торжествующей караульной собакой. Когда, например, идущий в побег лагерник, проползший запретку и проволоку, прорезавший в заборе дыру, глубокой ночью, на четвереньках, с ножом в зубах, уже вылезает на свет божий и сталкивается в тесном проходе нос к носу с нечаянно подоспевшим животным. Секунду-другую они стоят молча, два зверя, глядя в глаза друг другу. И внезапно собака уходит, поджав хвост, забыв о долге, даже и гама не подымая, словно почуяв исключительную, сверхъестественную напряженность момента. Однако и человек после этой встречи не решился уже на побег...

Все эти лагерные сказания позволяют нам лучше войти в поставленную писателем задачу, в его круг проблем:

показать, что даже и здесь, в зачерстевшем, казенном звере, недостойном, кажется, ни оправдания, ни снисхождения, теплится живая душа. Что и это обойденное судьбою, обманутое разумом существо, предназначенное до конца дней влачить позорную вахту, принимаемую за высшее счастье, заслуживает нашего внимательного, участливого взгляда.

Но вернемся к гоголевскому Акакию Акакиевичу, положившему начало этой литературной традиции. Гоголь первым, без скидок, напротив, сгущая краски в своем ни на что не годном, кроме механического скрипа пером, чиновнике, — заметил свет. И если до Гоголя Петербург прекрасно обходился без Акакия Акакиевича, словно того и не было, словно тот и не жил на земле, то теперь, после «Шинели», тень его навсегда вошла в состав невского тумана, промозглого петербургского климата, и нам уже вовек не избавиться от режущего сердце вопроса, внезапно произнесенного мертвенными устами: **«Зачем вы меня обижаете?..»**

Здесь не место вдаваться в историко-литературные завитки этого нравственного развития, этой художественной школы, в которой затем высшая роль анатомика и врача-владельца потерянных душ уготована была Достоевскому. Достоевский вывел на авансцену словесности длинную вереницу падших и погибших созданий. Достоевский научил нас понять и пожалеть убийцу (Раскольников), досконально изучив его сумрачное сознание, и сделал это с помощью другого падшего существа — проститутки Сонечки. Это был следующий, после Гоголя, шаг — и даже не шаг, а пролет лестницы, пройденный одним шагом, — к нижним ступеням ада. Достоевский — за нас — снизошел к самым последним, отверженным, и поставил — последних — над нами. В частности, поэтому Достоевского мы почитаем христианским писателем...

Не сравнивая масштабы, влияние, значительность, глубины этих исследований, список которых в принципе можно было бы и продолжить, считаю долгом причислить новую повесть Владимова к подобному ряду явлений русской словесности, снизошедшей не только к несчастным, но и к растленным душам, не только к жертвам, но и к убийцам. Из лагерного опыта, который подобно лаве выплеснулся в нашу эпоху из каменных недр на поверхность, который, как опыт жизни вообще, глубок и огромен, поучителен и разнообразен, автор Руслана извлек преимущественно один пласт бытия, доселе мало изученный: лагерная охрана, люди и звери караульной Службы. Этот сорт общества мы презираем (и правильно делаем), мы смеемся над ним (тоже правильно) и справедливо негодуем перед тем, что сотворили и еще сотворят эти люди. И Владимов, как мы, ужаснулся этим зверствам, этой убогой

тотальной психологии, всегда чреватой новым нашествием лагерей. Но Владимов сверх того ужаснулся, во что он себя обратил, этот человек, как он над собой надругался. И взглянул на него «с удивлением и жалостью»...

Мне неизвестно, какое мирозерцание исповедует Г. Владимов как человек и писатель, что, впрочем, не так уж важно, когда мы имеем дело непосредственно с текстом, говорящим порою больше, чем намеревался сказать автор. Но чтение его повести, проникнутой понимающим состраданием не только к гонимым, но и к гонителям, невольно навлекает на память вечные заповеди, которые далеко не всегда дано человеку исполнить, но Богу — дано... Когда сейчас порою именем православия произносятся рекомендации в пользу добровольного мученичества по образцу первых веков христианства, вновь жгучую силу обретают слова св. Григория Богослова:

«...Закон мученичества таков: не выходить на подвиг самовольно, щадя гонителей и немощных, а вышедши — не отступать; потому что первое есть дерзость, а второе трусость».

Вот именно — «щадя гонителей», помня, что и они живые души и, значит, не пойдет им во благо грех мучительства и убийства.

Нет необходимости в литературной статье ссылаться на великие богословские авторитеты. Однако и более скромный опыт рядового современного мученичества учит, что возможна, в самом деле, та возвышенная, справедливая и, кажется, недоступная нам точка зрения на жизнь и на смерть, непроизвольно повинувшись которой верующий человек, страдающий за веру в лагере, плачет и молится за тех, кто всегда его только ненавидел и преследовал. Причем делает это не из отвлеченных морально-теоретических соображений, а по первому зову собственного сердца. Мне вспоминается старик — из категории, называемой официально сектантами, — русский старовер-странник, плакавший, услышав по радио о кончине Ворошилова, тогда как у прочих зеков естественной реакцией было — либо холодное равнодушие, либо откровенная радость: умер старый палач!

— Что вы расстраиваетесь, отец Мина! Ворошилов, как говорится, свое уже пожил. А сколько он зла причинил — и таким, как вы, людям, — вы это знаете, вероятно, лучше меня...

— Так потому и печалюсь: ведь его душенька сейчас в ад идет!

И старец залился слезами.

Само начальство тогда, само правительство и партия не слишком сокрушались о смерти бывшего маршала и президента: Ворошилов свое отжил. И может, во всей стране искренне его пожалел один дедушка Мина...

Повесть Владимова «Верный Руслан» чужда морализаторских тенденций, и не стоит из нее выводить какое-то четкое означенное вероучение или практическое руководство. Но отзвук, но эхо тех нравственных и собственно писательских побуждений, которые толкнули Достоевского снизить до убийцы и содрогнуться наказанию, которое он сам себе придумал, переступив черту, пусть во имя самых прекрасных и прогрессивных идеалов гуманности и всеобщего счастья, — здесь слышится. И вот что особенно отрадно: новейшая русская словесность, в окружении стольких застенков и лагерей, сумела подняться на такую высоту понимания предмета, что извлекла из этих страданий не риторически-программный, а соединенный с нутром всякой твари урок — в том числе и для тех, кто следует неумолимо Закону проволоки.

Большая литература, в которую повестью о собаке вошел Владимов, плохо поддается тематическому делению: вот это, дескать, о «рабочем классе» или о «лагерях». Потому-то, не возражая, что «Верный Руслан» — это просто история собаки, караульной собаки, и я позволил себе задаться некоторыми гипотетическими вопросами, возможно, выходящими за рамки материала. Разумеется, форма есть форма: запретка и проволока, за которую не выйдешь. Но если у той запретки — в кольце — вся жизнь, весь мир — и люди и звери?..

1975

В текущем году редакция намерена подробно обсудить книгу Абрама Терца «Прогулки с Пушкиным».
